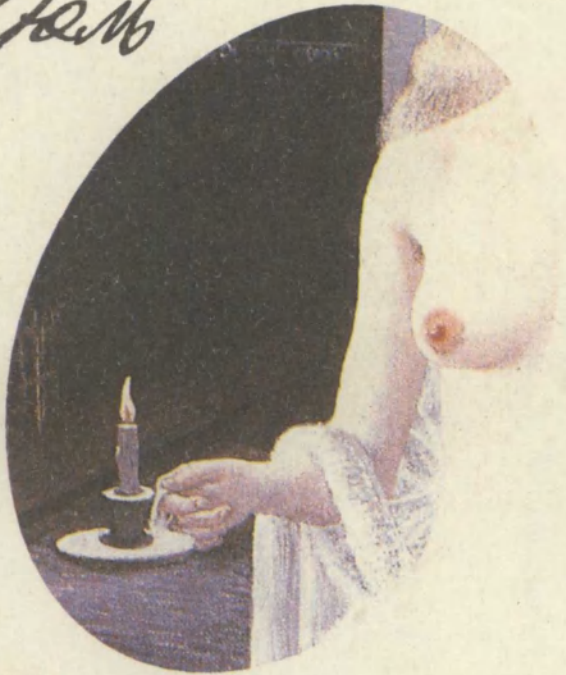


ISSN 0132-2036

ROH

Wend



C

'93

TEB

ЮНОСТЬ



7(455) 1993

**ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1955 ГОДА**

Редакционная коллегия:
главный редактор
Виктор ЛИПАТОВ
собкор по Уралу и Сибири
Юрий БЕЛИКОВ
заместитель главного редактора
Натан ЗЛОТНИКОВ
ответственный секретарь
Владимир КОЖЕМЯКИН
главный художник
Олег КОКИН
редактор отдела поэзии
Николай НОВИКОВ
редактор отдела прозы
Эмилия ПРОСКУРНИНА
руководитель литстудии
Юрий РЯШЕНЦЕВ
заместитель
главного редактора
Юрий САДОВНИКОВ
редактор отдела
сатиры и юмора
Александр ХОРТ

Редакционный совет:
Петр АЛЕШКОВСКИЙ
Геннадий ГОЛОВИН
Фазиль ИСКАНДЕР
Юрий КУБЛАНОВСКИЙ
Наум КОРЖАВИН
Александр ЛАВРИН
Валерия НАРБИКОВА
Булат ОКУДЖАВА
Игорь ОБРОСОВ
Владимир ПРИЙМЕНКО
Евгений СИДОРОВ
Владимир СОКОЛОВ
Лев ТИМОФЕЕВ

Коммерческий директор **Феликс МАЗУР**
Исполнительный директор **Владимир ТРАХАНОВ**



*Иномирцу тесно во Христе —
Еле уместился на кресте...*

ИНОМИРЕЦ

ЛЕГЕНДЫ* О ВЛОДОВЕ

*Два Юрия Александровича
(слева — автор, справа — герой)
фото Юрия Садовникова*

Статья 1-я. ПОПЫТКА УГОНА ВЛАСТИ НА ФОНЕ БРОДЯЖНИЧЕСТВА

Нас познакомила блудница. Вскоре, как и положено тенелюбивой Магдалине, она растворилась за песочными часами наших силуэтов, стала корицей евангельских рассказов, а мы пошли стопа к стопе, нимб к нимбу — не Учитель и ученик, но Учитель и Учитель, ученик и ученик, оба Юрии, оба Александровичи, разработали план захвата «Юности»: главным редактором — Юрий Александрович, замом — тоже Юрий Александрович, чтобы все вокруг вторили: «Юрии Александровичи не велели!» — «Обращайтесь к Юриям Александровичам!» Мы — гении. У каждого из нас есть спиноскоп: сорбённость, сгорбленность. И когда встречный люд тянет к нам длани, мы отвечаем рукопожатием, наши лица могут быть объаты зеркальной вибрацией разговора, но спины отсутствуют: от лопаток — всеми четками шейных позвонков — они обращены к небу. Горбами своими мы неотступно следим за звездами. У прозаика компрометирующая часть спины — ниже пояса. У поэта — от лопаток и выше. Говорят, что сутулость свойственна высоким.

Ну, я-то понятно — не маленького роста. Может, оттого что сгорбленный, оттого и поэт. А он, очевидно, оттого что поэт, оттого и сгорбленный. Сидит себе в электричке, хромающей в Переделкино, лукавый, земляничноносый, из-под пегушиного гребешка вязаной шапочки торчат во все стороны патлы, как у страшили; старовер-безбилетник: «На меня не бери!»; завидит петлицы осенней липы — гребешок набекрень и трясет крылом в промежности: «М-ма-ма! М-ма-ма!», а другим подгрбает к убивцу: мол, пошто сечешь голову пегушку? Но, как только блеск топора тускнеет, поправляет шапочку и, по-ангельски взглянув на попутчиков, швыряет носом: «Извините, тик...» Есть еще вариант отмазки. Сломать голос (даже Гафт завидует!) и предупредить: «Я — Левочка Жид... Меня вся ветка знает... Скажу Зайке и Ежику...» Действует безотказно.

Сигарету он держит левой — чтобы не мелькала кисть правой. Там жук в клетке. Тавро вора в законе. Тут нет ничего непроторенного. «Если не был бы я поэтом, то, наверно, был мошенник и вор». Есенинская алгебра поверяется оборотной гармонией — от Максима Горького до Владимира Максимова. Прибавьте к этому породистость: внучатый племян Мишки Япончика — бабелевского Бени Крика. Плюс врожденный артистизм: мать — актриса,

отец — режиссер. «Жидовская морда!» — кричала она ему. «Русская свинья!» — отвечивал он ей. «Отчего же, мамочка, ты вышла за него замуж?» — «А! Любовь, сыночка». Отсюда — все влодовские импровизации.

Если бы в отрочестве, когда девушки влюблялись в блатных и только изредка — во фрайеров, он не оперился в законника, его бы затюкал класс, где правили бритвы младшие братья московских паханов. А так — в пору молочной юности — его уже знало все уральское «колесо». Сопредельные же «колеса» рыдали под гитару над пробными стилизациями Влодова: «В клетке каменной, в клетке каменной я о стены стучусь головой. Ожидая я ласки маминой — только звякнет ключом конвой». Впрочем, не исключаю, что все эти рыдания, «колеса», бритвы, япончики и жуки в клетке — не более чем цветная, наборная рукоятка его множественных мистификаций. С другой стороны, он, как подсолнуховой шелухой, сорил азбукой чувовских кликух — Азана, Кияляля, Санчик — чем повергал меня в ясельное удивление, потому что сей звукоряд был звукорядом моего детства. В его лексиконе шестерило даже словцо «страмец» — эдак могли изъясняться лишь угланы Чусового, добавлявшие, видимо, «т» в общерусско-го «срамца» для с-т-р-а-ети.

Прежде чем — звонкой спицей — выломиться из своего «колеса», Влодов — кем быть? — держал ответ перед сходкой: каменщиком? нельзя — может построить темницу; плотником? не годится — может врезать в темницу замок; а поэтом? Поэтом?! — чесали вора в затылках. Поэтом... можно. Распечатали обшак и отправили Влодова учиться на Пушкина.

Позднее, став поэтом в законе, принятым в круг Чуковский, Пастернаком, Сельвинским, Бахтиным и Солженицыным, он вспомнит о своем вчерашнем ремесле лишь однажды: жена Людка пришлет ему под полы пиджака на задницу карман-сумку, и он, гипнотизер-манипулятор, проведет несколько сеансов в ближнем гастрономе. Но это — гастроли через силу: в дворничьей, укравшей их на время, голодная дочурка, а он — хронический беспаспортник да к тому же — поэт в законе. А поэт в законе служить, тем паче прислуживать власти не может. Этим он и отличается от непозтов, от стихотворцев и даже от поэтов, не возведших себя в закон.

Как и положено, поэт в законе заложил дворник. Но вот спас от ментовки и гебухи — кто бы вы думали? — первый референт Гришина! Звали его Евгений Сергеевич Аверин. И хотя он и был кравчим и сокольничим восточного царедворца, однако, по словам бедного узника, внешне походил на Махно, и, по всей вероятности, относился с тайным сочувствием к поэтическим анархистам. Махно возглавляет сейчас «Книжное обозрение».

Кстати, о Гришине. Уже будучи поэтом в законе, поэтом в законе, но отгораживаясь в том законе от плоскостопных антисоветчиков братской насмешкой, Влодов сочинил либретто к опере «Самозванец-79». Он не мог написать: «Мы живем, под собою не чуя страны...», потому что

* Легенда — ы. 1. Поэтическое предание о каком-н. историческом событии. 2. перен. Вымысел, нечто невероятное. 3. У того, кто выполняет секретное задание: вымышленные сведения о себе (спец.). С. И. Ожегов. Словарь русского языка.

он ее не чуял; разве можно чують страну, которой нет? Разве можно всерьез воспринимать власть идиотов без боязни впасть в собственный идиотизм? Страна забавляла Влодова, поэтому Влодов забавлял страну. Голосом, дымящимся пузырьками нарзана, он напел на магнитофон про то, как алкаш Гришка идет утром к магазину, где собираются его собутыльники.

«Здорово, Гришка!»

«Не Гришка — Гришин я,

Я — секретарь горкома,

Я — член Политбюро...»

Народ воодушевляется и, опохмелившись, движется к паперти. А там уже — юродивый, под чьими лохмотьями — рация.

«Дай две копейки позвонить в собор!»

(Никишин, из 4-го отдела.

Машину — к паперти. Двойную опергруппу.)

«Дай две копейки, жадный человек!»

Машину к паперти пришлось подавать снова. На этот раз — за сочинителем. Багроволицый генерал грозил с порога: «Я тебя, в рот-поворот, контрабандист!» Ему тихо поясняли: «Это — либретто к опере...» — «Я тебя, в рот-поворот, либретто к опере!» Влодов юродствовал, пища объяснительную, что сочинение сие имеет единственную цель — дабы не поводно было самозванцу объявиться. Не тогда ли пришли к нашему сочинителю строчки: «Нерожденному снится звезда. Прирожденному — чрево Марии?» Влодов предпочел грезить в блаженном сне зачатия, остаться нерожденным, неопубликованным, неузнанным, ибо, пробежав босиком по натянутой проволоке сновидений, он возвращался в исходную точку, потому что там, на другом конце провода, распятое тело снадали иные сны — о чреве Марии. Вот так, в дорожественской неге, спеленывая стихи на тетрадных обрывках носовыми платками и набивая ими карманы куртки и брюк, чтобы — «я главный целочник Москвы!» — их не выкрали и не издали его бесчисленные поклонницы, Юрий Александрович начал сучить лики своих двойников. Один из них изгался, ехидничал, подбрасывал гвозди на проезжую часть: «За что боролись, на то напоролись», «Прошла зима... Настало лето... Спасибо Партии за это!», «Под нашим красным знаменем гореть нам синим пламенем», «Оглянись вокруг себя: не греблет ли кто тебя?» Все эти шипящие метеориты, озарившие атмосферу народной речи, сорвались из-под пера Влодова.

Другие же двойники олицетворяли варианты его возможных осуществлений — кем бы он мог стать, если бы ему не силась звезда. Влодов основал неповторимую в своем роде Подпольную Империю Советских Писателей. Он сочинял за них книги: прием сам по себе не нов и в журналистике обозначается грифом «авторские материалы», но, во-первых, поименованные «авторские материалы» были для Влодова не трудом Сизифа, а шальостью Аполлона, и, во-вторых, на них все же мерцал дозированной налет мастеровито-одухотворенной фальши, требующей избранныкам для входа в Союз, в «Совпис» и в Секретариат. Иными словами, насмешник испытывал кайф. Неприбранный трутень в зрачках профсоюзоподобных, стихийный ночлежник (однажды уснул на одной из могилки переделкинского кладбища, пробудился — птицы поют, как в раю!) создавал «титанов и колоссов», не написавших ни строки: при вскрытии бы обнаружилось, кто трутень, а кто колосс. Создавал, почти что не требуя мзды. Единственным именем, выдутым искусным стекловудом и ставшим ключиком для заводной игрушки их способа жизни, было имя двадцатилетней латышки Мары Гриезане, заполнившей в свое время все толстые журналы. Но если у тамарисковой, полынной, оливковой Черубины де Габриак было волошинское лицо, то у ледовито-прибойной, суховато-игольчатой Мары Гриезане, при том, что ею водила одна, аристократически-узкая, с жуком в клетке рука, лицо было отнюдь не влодовским, а как бы... своим.

Он увидел ее на вокзале. «Латышка?» — «Я — остзейская баронесса!» — «А я — огромный поэт». — «Ты не поэт». — «А кто же?» — «Ты ё...рь». Так встретился внучатый племянник Мишки Япончика с внучатой племянницей Пельше.

Статья 2-я. ПОДДЕЛКА ЧЛЕНСКИХ БИЛЕТОВ ДЛЯ КУКОЛЬНЫХ ЛИТЕРАТОРОВ

— Скажите, подследственный: кто, кроме Мары Гриезане, входил в число ваших клиентов? И как вам пришла в голову такая идея — делать фиктивных писателей?

— Я был пьяный и развлекался. Гляжу, в ЦДЛ за столиком сидит Василий Журавлев. Друг Софронова и Грибачева. Очеркист, руководитель семинара в Литинституте. Аферист, ханыга и прохиндей. Я давно о нем слышал. Говорили, будто бы он спер эти очерки из журнала «Дальний Восток» пятигодичной давности. Вот, наверное, отчето я к нему прицепился: «Почему бы тебе не быть поэтом?» Он — моментом: «Ты, что ли, меня сделаешь? Хм... Я вообще-то таксер по профессии. Я тебя понимаю, бля... Все, замetano! Только смотри, чтоб атаса не было. Хипек будет — у!» Мы договорились с ним за пять минут. И у него начали выходить книги. Я сказал, что гонораров мне надо, я — так, интерес ради, это — потом, если приспичит. Жизнь прижала — приспичило. Позвонил, а он стал прятаться, клясться, что гонорара, мол, не получил. Но я-то знал, что получил. И тут он брякнул: «Известия» просят подборку — нужно дать». Написал я для него подборку, но внутри поставил два стихотворения Ахматовой. Публикация состоялась и... фельетон в «Литгазете» — тоже. Я звоню ему: «Ну что? Так я наказываю, Вася». Он выступил в «Литературной России» с письмом: мол, бес попутал, мол, у него в черновиках лежала любимая Ахматова... И исчез. Нет такого поэта Журавлева.

— Значит, Влодов — он же Мара Гриезане, он же Василий Журавлев, он же...

— Леонид Кузубов. Член Союза писателей. Сам с Белгородчины. Сын полка. Расписался на рейхстаге. Был у маршала Жукова на руках. И вот, когда ему стукнуло тридцать, Кузубов пришел в «Московский комсомолец» — я вел там литературную студию. Цок каблуками: «Здравия желаю! Извиняюсь, здесь прослушки лубянской нет? У меня вопрос: жись — смерть — и обратно». — «Слушаю вас». — «Дело вот в чем... э-э... я хочу стать писателем. Поетом, точнее». Я сразу его раскусил: «То есть вы хотите, чтобы я написал вам книгу стихов?» — «И не одну, боже мой! Творчество! Биография — богатейшая. Все документы — есть. Вот, пожалуйста, взятие Берлина, история штурма Кенигсберга. Фотокарточки, я везде впереди, в разведке, с батей. А вот и сам Жуков, батя. Он меня всячески поддержит. Тут и женка заела: «Почему бы тебе Ленчик, не стать поетом с твоей биографией?» Так, Юрий Александрович, мне желательно произведения военно-патристические и... лиризм. Гонорек всю — вам, а мне — немножко, половину, ага». Не буду говорить о творческом росте Ленчика. Он стал печатать военздатские толстые книги. Они назывались, к примеру, «Подвиг» или «Победа». На вечерах Ленчик читал, как Уленшпигель: «Кантемирский плацдарм не спит. Пепел в сердце мое стучит!» Один раз я написал ему ради смеха: «Как с Опанасенко ходили под Прохоровку, к Понырям, как там дрались, как фрицев били, как доставалось и нам...» А это «Валерик» Лермонтова: «Как при Ермолове ходили в Чечню, в Аварию, к горам...» И никто — ничего. «Валерик»-то не знают. Однажды в ЦДЛ Ленчик выступал с писательской бригадой. Я передал ему листок: «Читай вот это: «Я люблю зверь. Увидишь собачончку, тут, у булочной, одна сплошная плешь, Из себя достал бы ей печеночку, мне не жалко, дорогусик, куш-ш-шай!» Не ешь, а кушай. Он повертел листок: «Так-так... кушь-плешь...куш-плешь... как-то рифмуется странно. Это что, ассонанс? Аллитерация?» Я говорю: «Не надо это «ешь-плешь» — банально. А вот «плешь-куш-ш-шай» — это свежо». Так Кузубов не без моей помощи обновил Маяковского. И то, как говорится, все отвели глаза. А потому что сын полка. Отмеченный батей.

— И какова же дальнейшая судьба вашего сообщника?

— Замечательная судьба. Он издал более десятка книг. Вообще им написано много...

— То есть вами, подследственным?

— То есть мной. Живет он в Белгороде. Сед и мастит. Был секретарем местного отделения Союза писателей. Я почему о нем рассказал? Потому что в Белгороде все

знают, что Кузубов — клиент. И никак это ни на кого не влияет. Он настолько фанатичен, что ему кажется: автор — он. Я всегда учу клиентов: «Ты должен думать, что автор — ты. Иначе ничего не получится». И он как-то воскликнул: «Я же лучше пишу, чем этот поганый... Сидоров! Да он никогда не возьмет такую высоту... такую ноту... страсть эту!» Я киваю: «Да-да-да...», — а сам глаза опускаю. И Ленчик продолжает: «Я это графоманье закрою-дилю! Что за подозрения?!». Обычно он приезжал ко мне в Москву и говорил: «Журнал «Неман» просит цикл о партизанах». «Сколько надо?» — спрашивал я. «Ну так... стихотворений пятнадцать—тридцать». — «Хватит с них и десяти». — «Ну да, только, если можно, подлинней, чтоб навар с них снять. Вышлю телеграфом». Я: «Да мне не надо». И — пишу про партизан, как они пробирались болотами.

— Но это, конечно, не полный список ваших клиентов?

— Конечно, не полный. Журавлев провинился. Гривзана, моя бывшая жена, после того, как мы расстались, разоблачена самой жизнью. Кузубов — просто смехотворная фигура, остальные — засекречены. И у меня никогда не хватало бы хамства назвать их имена. К тому же я завязал — фиктивными больше не занимаюсь. Новых клиентов у меня нет, а старые... Они, как правило, с достоинством уходили со сцены. Среди моей клиентуры были, например, дамы. Это — помимо Гривзаны. Одна из них считалась почти что гениессой. Она вышла замуж за богатого прозаика и прекратила писать вообще. Якобы семья, дети...

— Уточните, подследственный: не идет ли речь о той даме, чьи стихи отмечал поэт Вознесенский в статье «Муки музы»?

— Я этой статьи не читал.

— Продолжайте.

— Мои клиенты уходили в тень естественно — мол, молодость прошла, они все уже сказали и можно занять пост в издательстве либо в журнале. А те, кто в ы ж и л, то есть продолжает числиться п о э т о м, их никак нельзя задеть. Потому что они — столпы. Даже без квычек.

— Среди этих столпов есть секретари союза?

— Сейчас? Сейчас все смешалось. Ну, один есть, да. Однако другой — он, скажем, не секретарь, но очень маститый. Просто он считается одним из лучших поэтов России! Сам он глуп, как пробка, пьян, как свивый мерин. И вся его глупость и пьянство принимаются за многозначительность и глубину натуры. Потому что он умеет себя подать. Берет каких-нибудь шестнадцать моих строк...

— Ваших?

— ... ну, для него написанных, какая разница? Берет и с патриаршей многодумностью читает в компании. А в печать отдает так: «Нет, вот два я вам дам, а третье стихотворение пусть еще полежит. Я его обещал в другое место». То есть он клиент высшего пилотажа.

— В ваших ответах есть разночтения: сначала вы утверждаете, что прекратили всяческое общение с клиентурой, но далее рассказываете, что они продолжают существовать, как поэты. И даже известные поэты. Чем же, простите, подпитывается их муза?

— Они издают себя экономно. Якобы пишут трудно, прочувствованно и очень серьезно. Когда-то мне нечего было жрать, я скитался и приходил к одному своему клиенту каждый вечер. Он освобождал мне комнату, готовил ужин, ставил вино для того, чтобы я, измотанный, нашагавшийся по холоду и дождю, за ночь написал поэмку. Поэмку! Но это не он мне ставил условие, это я — ему, боясь, что бутле нельзя делать у него ночлеги. И сколько я сделал ночлегов, столько он набрал этих поэмочек.

— Ответьте, только четко и ясно, какую цель вы преследовали, создавая армию клиентов?

— Они доказали мне в сотый раз то, что я давно знал: Союз писателей, даже высший его уровень — это моя левая нога. Я абсолютно удовлетворен и спокоен.

— Вы не боитесь, что, являясь держателем многих тайн, становитесь опасным свидетелем, от которого рано или поздно захотят избавиться?

— Не боюсь. Каждого клиента я беру на крючок. Может быть, он так омастител, что хочет меня убить. Что значит «крючок»? Не менее трех стихотворений клиента, широко напечатанных им в крупных изданиях, прежде опубликованы мной в какой-нибудь маленькой газетке — «Москов-

ском комсомольце», например, или в «Ленинском знамени». Чем меньше газетка, тем лучше. Клиенту предьявлена эта наживка, чтобы он не рыпался. И сказано так: «Если со мной произойдет что-то несусветное, в Москве есть один человек, у которого на руках список моих клиентов и все доказательства. Он нем, как могила, но ежели что — будет неимоверный скандал в международной печати, по радиостанциям «Свобода» и «Немецкая волна». И вы пойдете прямым путем по Владимирке.

— Значит, можно сделать вывод, что ваши клиенты оставляли вас в покое? И больше «счастья не ищут»?

— А чего меня искать? Известно, где я! Нет-нет, они считают, что я уже очень серьезный поэт, занимаюсь сейчас целиком своим творчеством, черновиками, готовлюсь к итогу собственной жизни. Все-таки это были молодежные игры с моей стороны. Мне доставляло удовольствие потешаться над СП.

Статья 3-я.

БИТЬЕ МОРД И ПОМАЗАНИЕ ГОРЧИЦЕЙ

Однажды они с Марой отрезали уши ушлому стихотворцу. То есть как отрезали? Да так, взяли й отрезали. Фамилия ушлого звучит таким образом, как если бы хотели произнести «Авва Отче!», да передумали. Впрочем, уши были вскоре пришиты, и стихотворец вновь мог слышать, что о нем говорят окружающие. Нетрудно догадаться о смысле их изречений, поскольку ушлый стихотворец, обладающий гипнотическим сипом, тормозил в ЦДЛ любого — неважно Щуплов ты или Рождественский: «Деньги е? Положить в мой правый карман!» Пока ушлому приращивали уши, его покровитель Ахто Леви, возмущившись содеянным, востребовал объяснений и назначил «резчиком» встречу в пестром зале. Они явились. По-над столиком медленно вздымался Ахто, как заговоренная кобра, превратившаяся в посох. Кто не знает Леви и не читал «Записок Серого волка», следует напомнить о его ледяном благородстве: «Я не должен вступать в Союз писателей, потому что на мне кровь невинных людей». Итак, посох ушлого завис в замершем воздухе. Ответчики подсели за столик с уже разработанным планом. Меж пальцев лыбились бритвочка, чтобы в случае чего, тут же эстонскому волку — «долларом!» — по шарам. У Мары в сумочке — ножик, чтобы сразу Серого — в сердце. Отчаянные. Матерый Ахто разом уловил запах смерти. Встал. Распроцался.

Несмотря на то, что Влодов считался одним из атаманов этой пьяной станицы из трех букв, но, окруженный адъютантами бокса, могущими по щелчку его пальцев вздрючить кого угодно, он никогда не становился зачинщиком рюмочных стычек. Жох, жуир, дон жуан, из-за которого женщины глотали яды, Влодов всегда, между прочим, защищал дамскую честь. Какослось ли это рассыпчатой, словно безе, тающей на многих языках Беллы — тонким стаканом, позолоченным шампанским, он запустил, оскорбившись, в именитого игруна-скабрезника: «Как ты смеешь так отзываться о Поэте?!» Или же речь шла о никому не ведомой старшекласснице — за нее он отплатил тяжелой пивной кружкой. В штормящем писательском кабаке на грозном крейсере кресла к их столику подплывал маринист Леонид Соболев. «Дяденька, гроби дальше!» — скомандовал Влодов. Но крейсер уже таранил легкую лодочку. Стекланный залп! — и трюм наполняется милицией. Начальник лунных прогулок Степан Ципачев жмет Влодову руку: «Я все видел! Буду свидетелем.» «Вечерка» выпускает статью «Хулиган или поэт?» и склоняется к тому, что поэт, он же хулиган, все-таки поэт. Однако Влодов попадает в клинч. Он, конечно же, удовлетворен, что с него сняты наветы в хулиганстве, но в цэдээловских коридорах все глубже укореняется слух, что Влодов, если не хулиган, то поэт, и, поскольку он почти не печатался под собственной фамилией, стало быть, его Мара — не Мара, а, собственно... Влодов. С широчайшими объятьями к нему кидается шароголовый поэт Ундевит Ломайлов, приватствующий гризановскую публикацию в «Новом мире». Мара стоит рядом, и Влодов недоумевает, почему Ундевит не поздравляет Мару. У нее — каждый месяц подборки в толстых журналах и, ежели так, то он, Влодов, может ходить по ЦДЛ в пиджаке из поздравительных те-

леграмм. Значит, Ундевит намекает?.. Стремительная, жесткая Гриезане хлещет Ломайлова по щекам. Ундевит надувается двумя пунцовыми державами и опять обращается к Влодову: «Но позвольте... За что?! Как она смела?!» Влодов, ни слова не говоря, открывает баночку горчицы, взбивает ее содержимое, и размеренной ложечкой Бога устанавливает на пустынной голове северный полюс. По Дому литераторов шелестит сквозняк, что у Влодова патологическая страсть — мазать горчицей лысых. Поэт снова становится хулиганом. Однако хулиганом, так сказать, авторитетным, с которым могли не раскланиваться, но которого не могли не замечать и, скажем, «стрельнуть сигарету у Влодова» означало все равно что привинтить себя ему. Да вот удавалось это немногим. Влодовским лауреатом так и не стал претендовавший на то прозаик Бесилий Бесенов. Отжалел от долгого пребывания в ЦДЛ, он столкнулся с Влодовым у гардероба. На Бесилия, превращенного в Бесилие, напяливали чугунную шубу пыхтящие одеватели. Влодов застегивал невесомую курточку. И вдруг он попал в свинцовый фокус копеечных глазок. Пожевывая мокрою, надломленную сигарету, Бесенов процедил: «Пламя!» — и ширкнул визкими руками. «Дай ему прикурить!» — обратился Влодов к своему мускулистому ученику Саше Карпихину. Карпихин, не разжимая кулака, цвиркнул зажигалкой. Фху! — задул Бесилий выщелкнутый огонек и указал на Влодова коротким пальцем: «Ты! дашь мне прикурить!» Это уже было выше жанра. Перед прозаиком стоял поэт в законе. «Ах ты, графоманская рожа! Обрубок Пруста и Кафки! Я сейчас тебе так прикурю — погашу о зрачок твой свинячий! — рассырпел Влодов. — Держать его здесь, пока я на такси не уеду!» — приказал он обрешившим дьявольтамам Бесенова и с вулканической бранью вышел на улицу.

Тут ему захотелось пошалить. Должна же быть какая-то разрядка! Влодов созвонился с композитором Бельченко, и они решили написать марш «Советских чекистов». Подправили некий расхожий мажор и пришли не куда-нибудь, а на Лубянку. В приемной КГБ СССР посетители потребовали, чтобы их принял зам. Андропова по культурно-массовой работе. Вопрос архиважный, можно сказать, профессиональный. При чем здесь Союз композиторов? На странноватых стукачей дико смотрели, долго перезванивались, наконец провели в кабинет, где сидел человек в штатском с неприкрытой генеральской осанкой. Влодов положил перед ним текст и сказал: «Сейчас мы исполним». Притопывая в такт ногами, они грянули:

Как много в этих даях сердцу близкого!

Спокойно спи, Москва моя, пока

На площади железного Дзержинского

Работает полночная ЧК! —

ва-ба, ба-пам!

Лицо лубянского Викторю заиграло пятнами северного сияния. Он занес над текстом, наверное, выращенный в спецмагазине, огромный красный карандаш-гибрид, готовый поразить цель как набрякшая ракета. «Первое замечание, — откашлялся Марк Захаров, — мы — не ЧК, а Комитет государственной безопасности. И второе: мы работаем не столь ночью (что это за «полночная ЧК?»), сколь днем!» Влодов: «Ну, это легко исправить!» «А я вообще сомневаюсь, — покачала головой Татьяна Дороница, — в целесообразности этого, извините, марша! Кто это и где будет его маршировать?» Влодов, делая жест в окно: «Ну, например, бывает День чекиста, и, значит, по такому случаю войска КГБ маршируют вокруг памятника Феликсу Эдмундовичу — здесь бы оркестру и встать!» «Вы тут мне не режиссируйте, не надо! — замахал руками Олег Ефремов. — Вот поправьте и принесите еще раз. А мы уж советуемся, что с вами делать».

Пора было вышивать крест на рискованных розыгрышах и затрапезных потасовках, потому что завербованные жены и любовницы падали на колени, как весенние сосульки: «Они стучали на нас кулаками: «Советская власть вам поручает!» «Да ничего, — утешал их Влодов, — работайте, если поручили. Я же не шпион». А сам попытался навестить проигранные очки, вернуть утраченный миф о поэте. Поехал к Пастернаку на дачу, продиктовал ему приветствие о Влодове и с этим напутствием явился в редакцию «ЛГ». На табличке прочитал: «О. Кунява». На диване, положив лакированные башмаки на валик и распахнув перед собой газету, в черном костюме и белой

рубашке с галстуком лежал жуткий красавец. «Стихи принес, душка? — не поворачивая головы, спросил он. — Положи на стол. Если москвич — позвони. Если нет — письмом ответим». «Встать, когда с тобой разговаривает Поэт!!!» — взъярился Влодов. «Так бы сразу и сказал, душка», — свернул газету О. Кунява.

Действительно, к тому времени Влодов уже был поэтом, но еще не был и н о м и р ц е м. Он писал лирические стихи, как дует ребенок на блюдечко с горячим молоком, обжигаясь и разбрызгивая его по столу. Нужно было молоко остудить и допить до головокружительной золотой каемочки, кошачьего зрака, когда блюдечко (или летающая тарелочка?) как бы само по себе, едва до него дотронешься, вздрогнет и завертится по сцене стола юбочкой балерины.

Влодов шел по шпалам от Павловского Посада к месту своей прописки. На багровом щите луны затихали сумерки. Вдалеке, умолкая, еще бился в падушей поезде, на который он опоздал. От Посада до Электрогорска — километров пятнадцать. Воздух вдоль насыпи изрезан осокой. В общем, место пропащее, приворотное, гибельное для грибников и потому в народе прозванное Черной падью. Вдруг — что такое? На рельсах — ребенок. Безмятежный бутуз вдохновенно играл в какую-то только ему ведомую игру. Влодов сбавил шаг и почти остановился. Ребенок (или не ребенок? Потом-то он понял, что это был не ребенок) неуклюже поднялся и, нетвердо ступая, покачиваясь из стороны в сторону, как бы хватаясь в воздухе пухлыми ручонками за некие поручни или перильца, двинулся вниз по насыпи в шелестящую осоку. «Куда?!» — протянул было руку Влодов, но в этот момент ребенок обернулся, очи его блеснули, как два лучевые зеркала, и Влодов чуть не закричал от болевого света, полоснувшего его по глазам. Он еще сумел различить серебристый вспых блудцеобразного тела, взлет со звуком песчинки, ударяющейся о стекло, и потерял сознание. А когда пришел в себя...

Статья 4-я. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ВЛОДОВА

Дух на Руси исподен. Нюхай, да не гнуси. Кутайся, сын Господен. Холодно на Руси! Ветра блажная удаль. Гой еси-разъеси! Кутайся, брат-Иуда. Холодно на Руси. Хутор. Сельмаг. Долина. «Жучка, Полкан, куси!» Кутайся, Магдалина... Холодно на Руси. На большаке пропойца Тычет перстами в степь; «Глянь-ка, святая тройца — Два мужика да стерьвь».

Утро солнечным венчиком В дождевом парике — Дева с младенчиком Идет по реке. По задумке художника — Сквозь радуу лет — Золоченого дождика Серебряный след. Словно трепет бубенчика Под Господней рукой, Лепет младенчика Парит над рекой...

Хрупка, пуглива Богородица. А сын шустер, как ванька-встанька... Но рядом — карлица, уродица, Кормилица, заступа, нянька! Постичь ли?.. Ватки, мази, марлица... Ах, и пеленочка сырая! Но рядом — ведьма, злюка, карлица, Сестра богов, хозяйка рая.

Странные слухи о странном после, Хохот и гогот в народе посеяв, Едет Спаситель на драном осле, Едет Спаситель спасти фарисеев. Пьяным народом гоним и храним, Ногу поставил в тряпичное стремя... Бог на осле! И, как крылья, над ним Пагубно свищут Пространство и Время.

Бороду рвал Христос В горе своем глубоком: «Встал я — пархатый пес — Между людьми и Богом! Ханжество соловья Вкралось, вплелось в орешник... К Богу подкрался я, Слостолюбивый грешник. Трижды в ночной насест Стукнет всеильный кочет... Как мне нести свой крест?.. — Как Сатана захочет? Мир оплести добром Пагубней нет отравы...» «Смертный!» — прогаркал гром. «Вечный!» — шепнули травы.

Сцепили земные звенья. Глумясь, подвели итоги... В пустынном песке забвенья Христос омывает ноги. Грядущих времен затменья. Грядущих миров разрухи. В пустынном песке забвенья Христос умывает руки.

Все скрестилось — и Спаситель поднял голову, Желчным оком разжигая произвол. Как секирой по раскаленному олову, По глазам первосвященников провел. «Разве

истина — в кровавой человечности?! Ха! Явились на pozor, как на парад...» И тайлос в предвечерней лунной млечности Ухо Богово — округлый аппарат. Покатилась иудейская История Каплей крови по Господнему ребру... И, похожие на пепел крематория, Пейсы старцев трепыхались на ветру.

Оторвали от плащаницы, Отодрали кровавый струп, Ходко выкрали из тайницы Исказненный штырями труп. И зарыли в овражный срез, И завыли: «Христос воскрес!» — Дабы Вера сердцам светила И сироты сбивались в круг, Дабы умершие светила Божий свет излучали вдруг. Осязая на горле крест, вой, пиита: «Христос воскрес!»

Иуда — горяч и смугл — Шагал из угла в угол... Шагал из угла в угол... Терзал запотелый ус... А мысль долбила по нервам: «Суметь бы предать — первым!.. Успеть бы предать первым! — Пока не предал Исус...»

Не спится той осени От шелеста и гуда. Все думает о сыне По имени Иуда. Не он ли шел на муки, Вдохнул святого чада, — Божественной науки Помеченное чадо?..

Иуда взял бездарно — серебром. Сбил цену на предательство людское. И праведный над ним разверзся гром! А взял бы золотом — хоть помер бы в покое.

Магдалина — у Христовых ног. От деревьев — тени-сполоины. На челе Христа — живой венок, Собранный руками Магдалины. «Милый! Мне Иуда надоел! Он похож на сонную тетерею. Как он чавкал! Как он грязно ел! Опозорил Тайную Вечерю. Мутно плещет сонная вода. Небеса струятся в никуда... Чу! Иуда — у любимых ног. Над Иудой — лепет Магдалины. Заплетает праздничный венок Из кроваво-желтой адалины. «Милый! Мне Учитель надоел! На меня прицкинул, как на кошку... На тебя прицкинул... Не доел... Уронил священную лепешку...» Сонно плещет мутная река. Небеса струятся... и века...

Когда Христос бежал из бьли, Забыв котомку у мурла, Блудницу верную избили, И птичка в клетке умерла. Вослед ему неслось из дали, Двоязы в распаренном аду: «Изгнали демона, изгнали! Ату нечистого! Ату!» Но тут же божескую милость Явила дьявольская власть. Звезда судьбы слегка затмилась И новым пламенем зажглась...

Вгрызалась в Господа тревога С тупой настырностью крота. И грохнул голос Антибога: «Я ужоу! Открой врата!» Взрыдали хоры безутешно. И над божественной горой Гремело мощно и мятежно: «Врата открой!.. Врата открой!..»

Бог — не милостив. Бог — жесток: «Знайте, хилые, свой шесток!» Дьявол — набожен. Дьявол — тих: «Пойте, милые, Божий стих!» Дьявол жгущие слезы льет... Тихо плавится Божий лед.

Все деревья ометлели — До последнего хруста. Гонят ведьмины метели Запоздалого Христа. Он бредет по вьюжной кромке, Временной свивая жгут. Нерожденные потомки Бога изгнанного ждут.

А если ничего и никого — Ни Господа, ни Дьявола, ни рока? — Всего одна короткая дорога, Где слезы ветра брызжут веково...

«Нет ли здесь богохульства?! — пропев эти стихи, воскликнет Смотритель печати. — Надо позвонить Алексею Второму или, на худой конец, Глебу Якунину». Но если бы сей Смотритель позвонил Александру Исаевичу, тот бы ответил строчками своего письма, присланного в Россию еще в 1982 году: «Мощь этого поэта — в том, что он идет не от книг, а от самой жизни и, несмотря на якобы вневременные темы, — всегда современен, так как пишет п с х о л о г и ю землянина, человека, во всей, порой несусветной, противоречивости ее. А что до поэтической школы, на мой взгляд, она у него с в о я, что в литературе большая редкость».

«Евангелие от Влодова» — маленький раздел влодовской Библии «Люди и боги», которую он множит всю жизнь. Когда она будет издана, ее соединят не клей и скрепки, а магическая цифра — 333 стихотворения. Но это еще не все: есть удвоенный шифр — двустигшие над каждым стихотворением. 333 двустигшия. В сумме с основными стихами они дают звериное число: 666! «Талант по духу — Бог, а гений — сущий Дьявол», — начертано Юрием Александровичем. «Вот и пусть решают, — усмеяется он, — чего во мне больше — божественного или сатанинского». Известно, как один, втихомолку накачанный булгаковским морфием, партийный чиновник, к коему Влодов завылся в приемный час, на полном номенклатурном серья-

езе оговорился: «Как вы точны, товарищ Влоланд!»

Божественное и дьявольское то неимоверно переплетается, то затягивает гордиевым узлом, то, играючи: дай-ка посмотрю?! — меняет нишами его муза. И тогда — «божескую милость являет дьявольская власть». И тогда — «Бог не милостив», а «Дьявол набожен». И тогда — «тихо плавится Божий лед». И над трогательным лепетом младенчика склоняется не Пречистая дева, а нянька-карлица — истинная хозяйка рая. А Иуда, предав, утверждает возможное предательство Учителя. А ученики, «ходко выкравшие искаженный штырями труп», зарывают его в овраге, чтобы возвестить миру о воскресении Христа. А Магдалина грешит напрапалу то с Исусом, то с Иудой. Но, Боже правый, может, так все оно и было?! Или могло быть?! Да и в самого Господа недаром «вгрызается тревога», предчувствие опрометчивого шага и вселенской ошибки. Ибо тот, кто взывает: «Открой Врата!», знает себе победительскую цену и там, за родовым гнездом, становится уже не Дьяволом, не Сатаной, а Антибогом. Влодов как бы приглашает нас огорчиться: значит, и Господь не совсем силен, потому что изгнал, потому что открыл Врата?!

Стихотворения Влодова похожи на спичечные коробки. Такие же компактные, как догорающее столетие, дерзки, как спички, и запоминающиеся, как спички. Их хорошо держать под рукой или носить в боковом кармане в отличие, скажем, от «спагетти» Иосифа Бродского, для которых нужны полиэтиленовые пакеты. Утомленному осознанию, отягченному сердцебиению, отвыкшим подавать отзвук стоящему на паперти звуку, необходим этот песчаный, тускловажно-желтый фон, эти незнакомые знакомцы — «два мужика да стервь»: только им позволительно омывать почерневшие ноги в усталых песках человеческого «я», а уж как там между ними что решится — на то воля Божья. Божья ли?..

Почему ему любы приглуженные краски, когда рыбы, птицы и звери, да и, собственно, люди в первообразе своем, реагируют на все яркое — от мелькнувшей блесны до сдернутой заколки? Потому что жизнь и судьба, искушавшие безднами, приподняли его на такую высоту, что он уже может позволить себе ронять на холст тусклые мазки, как смиренно пойти на Плешку, если какая-нибудь бестолочь или неровня молвит, кидая ему пару зеленых: «Слышь, Юрок, стоняй за девочками!» Не оттого ли он так гомерически уверен: «С Нобелюгой нам не разминуться: я создан для нее, а она — для меня?» «Что это за Нобелюга такая?! Все глаза бы ей выцарапала!» — приплясывает ноготками по столу жена Людка Осокина.

Статья 5-я. ШПИОНАЖ В ПОЛЬЗУ ШВЕДСКОЙ СТЕНКИ

— Продолжим нашу беседу. Что за письмо, подследственный, вы передали шведскому королю? И почему — шведскому? Кто вас этому надуомил?

— Ну, во-первых, письмо я передал не королю, а слушающим шведского посольства. А во-вторых, надуомил меня этому... пьяный ангел. Еду я ночью в метро. Гляжу: напротив на сиденье — такой потертый пилигрим, но взгляд пронзительный, млечный. Сначала он на меня все пытливо поглядывал, а потом, выходя, сунул истерзаный журнальчик «Эхо планеты»: «На, дружан, покумекай, чтоб ехать — не скучно...» Раскрываю. Разворот о королевском семействе Карла XVI Густава. Оказывается, вся семья обожает поэзию, пишет верлибры. Приехал я домой и заполночь, таясь от соседей, сочинил на кухоньке краткое, но веское послание Его Величеству: мол, я тоже король в своем дерзком и независимом королевстве — в моей поэзии, которой отдал жизнь...

— Вы просили политического убежища?

— Я просил приютить на шведской земле нищего, но гордого питу, дать не политическое, а нравственное прибежище ему и его семье.

— Это что-то новое. Вы считаете, что Россия так безнравственна?

— Страна не может быть безнравственной. Страна — понятие с о т к а н н о е. Если страну ткнут только шелкоперы, плащаница разрывается. Вот нелепость (а может,

закономерность?): всему порядочному, что есть в моей душе, я обязан воровскому миру. Всею беспорядочному, отвратному, подлому — миру литераторов. Литераторов, ораторов и — далее по алфавиту. Я не хочу больше гоняться с топором за графоманами, которые считают себя поэтами.

— Это, надеюсь, иносказание?

— Никаких иносказаний! Я действительно гонялся за графоманами с топором, когда круг моего общения был достаточно широким. Сейчас он сжался, как шагреновая кожа. Здесь, в России, уже не к кому ходить в гости. Для общения мне нужны короли. Это — мой уровень. Пусть хотя бы дочка моя девятилетняя поиграет с инфантами. Недавно Юлечка спросила: «Папа, я ведь стану принцессой?» Но, кажется, я забегал вперед. Письмо к королю я отправил через посольство. Вскоре из посольства позвонили: «Писали королю? Оформляйте документы!» И тут меня осенило: мужик-то в метро был вестником, как и ребенок на рельсах!

— Вестником — откуда? Из Стокгольма? Не приписывайте земные грехи астральным силам. Нам доподлинно известно, что так называемый вестник (или Весник? Может быть, это был актер Евгений Весник?) передал вам не журнал «Эхо планеты», а... что? Подследственный, с какого времени вы являетесь агентом шведской разведки?

— С тех пор как прочитал пушкинскую «Полтаву». Когда я дошел до строки «Ура! Мы ломим, гнутся шведы...», — я почему-то вскарабкался на шведскую стенку и изрек: «Гнущиеся — не ломаются!» И стал ждать Нобелевской премии.

— Не ломайтесь, Влодов. Мы прекрасно осведомлены, как вы умеете ерничать. Но скажите: ведь случай ваш разрекламировали в газетах, российское телевидение расщедрилось на получасовую передачу «Я Вам пишу, Ваше Величество», где актер Суховерко читал за кадром ваши стихи, а вы, мастито развалясь в домашнем кресле, витийствовали о бытие и искусствах — так? Неужели, как пишет Тарковский, вам «этого мало»?

— Да, мало.

— Чего же вы хотите?

— Я хочу, чтобы поэты писали письма только поэтам и королям, а короли отвечали только королям и поэтам. Знаете, что мне сказал атташе шведского посольства, господин Дамберг? «Я — скромная фигура. Я — простой атташе. А вы — поэт. И вы забудете меня». Это швед говорит неведомому для него российскому поэту!

— И когда же закончится ваше чемоданное настроение?

— Я мог захлопнуть чемодан сразу, как получил приглашение короля. Мы явились бы с Людкой в посольство, бросили бы паспорта на стол (нам так и предлагали) и — дипсамолетом усвистали бы в Стокгольм. Но я задумался: «Сие не красит меня перед Родиной. К чему эти нервические жесты?! Они годятся для других». Поэтому все идет своим чередом. Шведы — народ основательный. К тому же еще никто не пробовал вывернуть вековой путь — податься из грехов в варяги. Вдобавок — странность: с того самого королевского часа здоровьце мое покатило на спад — какой-то паралич воли и онемение конечностей... — Вот видите! Значит, ваш вестник — плохой вестник. А Родина для вас чужбна. Не уезжайте. А мы вам поможем...

«Встать, суд идет!» — вздрогнет он среди ночи, свернувшись зачерствевшим бубликом на составленных стульях в кабинете Дементьева, где забыта пустая бутылочка с запаянным внутри деревянным крестом. Бутылочка с распитым Иисусом. Взгляд пробежит по взлетной полосе тяжелого стола редакционных бдений, освещенного по краям, там, где кресла, — соляными столпами люминесцентных классиков; пробежит и оборвется, потому что отовсюду, с кресел ли, с книжных ли стеллажей с многолетними подшивками «Юности», двинутся, прижимая к полу, как полупрозрачные, бойкие тучи, клейкие фантомы его клиентов, рассольных жителей ЦДЛ, помеченных синяками и ссадинами, и он, то ли пробуждаясь, то ли, наоборот, впадая в беспробудность, услышит: «Подсудимый Влодов! Вам предъявляются обвинения по следующим статьям: статья 1-я: «Попытка угона власти на фоне бро-

дажничества»; статья 2-я: «Подделка членских билетов для кукольных литераторов»; статья 3-я: «Битье морд и помазание горчицей»; статья 4-я: «Евангелие от Влодова»; статья 5-я: «Шпионаж в пользу шведской стенки»...

«Надо будить Юрия Александровича!» — подумает Юрий Александрович и спешно щелкнет выключателем, и постучится в кабинет Липатова, где — так же, на стульях (я же предупредил, что у нас теневой кабинет) — спит ваш покорный слуга, постучится и, как бы совершая последнюю затыжку, вспыхнет чинариком дымного голоса: «Подымайся. Хана. Надо писать завещание». И напишет: «Если со мной что-либо случится — все в руках Высших Сил! — мое поэтическое имя и гонорары от предполагаемой славы — для жизненного прикрытия и уверенности в завтрашнем дне — завещаю (поровну) дочери Юлии и жене Людмиле. Отбор и издание рукописей доверяю поэту — другу моему — Юрию Беликову». А потом дождется утра и, старательно пошорокав сизые щеки чужой электробритвой, шагнет в ближайший кабинет и подаст исписанный листик высокому, с бронзовым профилем, неумолимому человеку, и сам прокуратор «Юности» Злотан Нотников приберет тот листик золотым пестиком печати.

И поедут два Юрия Александровича в Переделкино, и никто их не оштрафует, потому что не за что их штрафовать, и пойдут они мимо кладбища, охватывающего округу, как священный пояссок-оберег, и оттуда, из-за сосудисто-синих оградок, узнавая, будут приветствовать одного из них перелетными кликами галок живые тени почивших, а другой, пока они движутся к зажмурившемуся Дому Ворчества, с печалью отметит, как его неброского слутника покровительственно вспоминают и заговорщически дергают за вытертые рукава мертвые тени живых, коим заказан путь за тот пояссок-оберег. «Как Олеся?» — спросит он и услышит: «Читайте первый номер «Знамени!», «Как жизнь, Фурия?» — «Да все о'кей: дача-квартира-соборание сочинений». И никто из них, даже этот херувим Фурия, именующийся теперь не иначе как Фурий Нахайлович Лопяков, которому он писал предисловие за подписью Володи Косолава, не озарится вопросом: «А вы? Где вы и как вы живете, Учитель? И живете ли?» Он повлечет меня от этих сосен, тарыхтящих на морозе, как рокеры-мотоциклисты, скорей, куда-нибудь в тепло, в четыре стены, под крышу — да-да-да, он единственный в мире поэт, признающийся в своей нелюбви к природе: раньше любил, а сейчас не любит, это нелюбовь застарелого скитальца — повлечет и попутно пробормочет нечто роковое, неотступное: «Жандарм сыграл сквозную роль. Позорно струсила газета. Смолчал запрошенный король. Все отшатнулись от поэта... Храпит поэт: житуха — во! Над ним хором небесных спевка... А кормит гения того — Одна лишь уличная девка...», — пробормочет, а после, когда мы сдвинем казенные стаканы, поведает: «За Курским вокзалом есть хороший отворот — прыгнешь с платформы и уже нигде не денешься. Но главное перед этим — бросить письма, чтобы, ежели срейфишь, было неимоверно стыдно. Бросить письма, купить бутылку водки, пива и пачку сигарет, прыгнуть, затем выдуть всю водку, отгнать ее пивом и закуришь...» Затем...



Фото Леонида Шимановича